

Секреты нежной страсти

Краса гарема



Елена Арсеньева

Елена Арсеньева

Краса гарема

«Автор»

2010

Арсеньева Е. А.

Краса гарема / Е. А. Арсеньева — «Автор», 2010

ISBN 978-5-699-39895-9

Маше Любавиной едва исполнилось двадцать, но она уже вдова и, облачившись в черное платье, думает, что жизнь для нее закончена. Да и была ли эта жизнь? Муж так и не сумел разбудить в ней чувственность и затронуть нежное девичье сердце. Нечестивые мысли никогда не тревожили юную вдову, и, разумеется, она даже не могла помыслить, что когда-нибудь окажется в восточном гареме. И теперь Маша в ужасе: неужели ее похитили для того, чтобы сделать наложницей? Она готова на все, чтобы выбраться из этой ловушки.

ISBN 978-5-699-39895-9

© Арсеньева Е. А., 2010

© Автор, 2010

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

25

Елена Арсеньева

Краса гарема

*Какая нега в тех домах,
В очаровательных садах,
В тиши гаремов безопасных,
Где, под влиянием луны,
Все полно тайн, и тишины,
И вдохновений сладострастных!*

А. Пушкин

– А вообще я бы хотела родиться черкешенкой, – вздохнула Наташа и ближе поднесла к лицу зеркальце в резной рамке с ручкой в виде павлина. Деревянная рамка, казавшаяся кружевной, была красоты изумительной: цветы, травы, неведомые буквы сплетались в чудесный узор, разбирать который можно часами, и все не надоест.

«Любопытно бы знать, откуда взялось у Наташи это дивное зеркальце», – подумала Маша, и только потом до нее дошел смысл слов кузины.

– Кем?! – изумилась Маша. Уж на что она привыкла к причудам Наташи (все-таки они знали друг дружку с детства, уже безумно много лет), но досужие выдумки барышни Сосновской даже и ее порою приводили в остолбенение. А иногда раздражали. Вот как сейчас.

– Черкешенкой! – повторила Наташа с тем же мечтательным вздохом. – У них томные черные глаза, более похожие на черные солнца!

– «Твои пленительные очи светлее дня, темнее ночи»? – спросила насмешница Маша, миглом вспомнив Пушкина. – «Вокруг лилейного чела ты дважды косу обвила»?

Наташа немедленно надулась, поскольку и очами ее бог наградил отнюдь не темнее ночи, а самыми обычными – светлыми, ясными, голубыми, – и коса удалась не так чтобы очень. Сколько ни мазали Наташе голову репейным маслом, сколько ни чесали волосы частыми гребнями из целебного палисандрового дерева, а коса расти нипочем не хотела, кудри не вились, слабые тонкие пряди оставались скользкими, словно травинки, и вечно торчали из косы – никакими лентами не удержишь. То ли дело толстые и черные, словно змеи, косы черкешенок, подумала Наташа и снова вздохнула.

– Знаешь ли ты, что черкешенки – самые красивые наложницы в гаремах? – продолжила она. – И дороже всего ценятся на невольничьих рынках? За них порою дают целое состояние!

– Кому? – с усмешкой спросила Маша.

– Что – кому?

– Ну, кому дают это самое состояние?

– Как кому? – Наташа посмотрела на нее, как на глупое дитя. – Тому, кто ее продает!

– Но ведь самой черкешенке ничего из этого состояния не достается, верно? Деньги получает продавец, а она, хваленая твоя черкешенка, будто крепостная девка, переходит к новому хозяину, только и всего.

– Ты что?! – Наташа так возмутилась, что даже зеркальце отбросила. – Сравнила тоже! Девки для чего покупают? Белье мыть, полы скоблить, за скотиной ходить, детей господских нянчить или на полях спину гнуть. А черкешенок... – И снова она испустила протяжный завистливый вздох – на редкость дурацкий, по Машиному разумению. – Черкешенок – чтобы холить и лелеять их красоту, чтобы покупать для них драгоценные украшения, шелка и атласы, спелые фрукты и восточные сласти, чтобы им прислуживали покорные рабыни, а они бы только получали удовольствие от жизни и услаждали своего повелителя пением, танцами и игрой на лютне.

Маша воздела очи горé. Она была всего лишь на три года старше Наташи, однако иной раз ей казалось, что между ними пролегла целая жизнь. Ее кузина – пока что барышня на выданье, а она сама успела уже и замуж выйти, и даже овдоветь. Муж ее сложил голову на Кавказе, пал от черкесской пули, и, может, именно потому Маше были противны и даже нестерпимы все эти нелепые бредни о черкешенках и их невероятных прелестях.

Какие там прелести?! Все это рассказы восторженных пиитов. Ленивые, жадные до сластей девки, косы свои как заплетут в детстве, так и не расплетают их, и не чешут. Притом черкешенки такие же злобные, как их мужья и братья – абреки, – только и норовят горло перерезать зазевавшемуся русскому офицеру! И вообще, что значит – черкешенка? С легкой руки тех же пиитов черкесами называют всех подряд представителей племен, населяющих Кавказ, а между тем среди них есть и грузины, и чечены, и осетины, и лезгины, да мало ли еще всякой мелочи, коя себя солью земли мнит и утверждает, будто ее аул – центр мироздания!

А что до гаремов магометанских... Маша после свадьбы поселилась в имении мужа, где всем заправлял его дядюшка. И там-то она нагляделась на долю крепостных девок. Сама она выросла в семье родственников (майор Любавинов женился на Маше из-за красоты и молодости ее, пленившись бесприданницей-сиротой на благотворительном балу, где она скучала в киоске, продавая домашнее кружево), крепостных не имевших, и никак не могла взять в толк, как же это можно живых людей продавать и покупать, словно пару белья, или штуку материи, или столовые приборы, или книжки модного беллетриста. Однако дядюшка майора Любавинова, Нил Нилыч Порошин, очень любил посещать торги, одних людей сбывая с рук, других – покупая. В день таких торгов в имении стоял крик и вой матерей, которых разлучали с детьми, и жен, прощавшихся с мужьями. Длилось это до тех пор, покуда Маша не написала жалобное письмо мужу, после чего дядюшке пришел строжайший приказ с людьми крепостными обращаться человечно и не бесчестить имени майора Любавинова званием сатрапа. Поворчав и затаив злобу на супругу племянникову (дворня же и крестьяне ей, напротив, руки целовали), Нил Нилыч теперь торговал только девками и холостыми парнями. Особенно нравилось ему прикупать молодых красавиц, и Маша из неосторожных уст слышала порой о том, как приходится этим девушкам служить управляющему! Устроил он себе самый настоящий гарем, даром что был отнюдь не магометанином. Однако ни холить, ни лелеять девичью красоту, ни покупать для своих избранниц драгоценные украшения, шелка и атласы, спелые фрукты и восточные сласти Нил Нилыч и в мыслях не держал, потакая своим мужским прихотям, закоренев в распутстве, а девушки и в самом деле должны были услаждать грозного повелителя пением и плясками... Правда, обходилось без игры на лютнях, но, верно, только лишь потому, что ни одной лютни в Любавинове не имелось, только балалайки велись, и искусных балалаечниц Нил Нилыч особенно жаловал своим расположением...

Ох, сколько всего навидалась Маша за год жизни в Любавинове! Даже и вообразить прежде не могла, что мужчины из общества могут столь распущенно себя вести. А слова поперечного или укорного дядюшке молвить было никак нельзя, потому что он сам начинал попрекать Машу: отчего-де по сю пору порожня ходит, отчего не произведет на свет ребенка – наследника любавиновского рода? А разве она виновата? Для сего муж нужен, а свет-Ванечку спустя менее месяца после свадьбы отозвали в полк. Супруг писал нежные письма, сулил вскоре прибыть в отпуск, однако не успел: сложил голову в схватке с абреками, оставил жену вдовой, а в имении вновь полновластно воцарился и теперь делал что ни взбредет в голову Нил Нилыч. Маша же как приехала в Любавиново с узелком, сирая и полунищая, так из него и уехала, увезя с собой, как говорится, алтын денег да с чем в баню сходить. Нет, это лишь для красного словца молвится, средства на жизнь у нее теперь, конечно, были, только дома своего Маша не имела. Она вполне могла не нахлебничать у родственников покойной матери своей, Сосновских, у коих жила до замужества, однако твердо решила, что в Любавиново ни за что

не воротится, покуда там властвует зловерный Нил Нилыч, который тиранит людей почище любого турка, а девок бесчестит поболее всякого магометанина.

Так что слушать бредни Наташины о гаремах – и где она только набралась этой ерунды?! – Маше было и смешно, и неприятно. И она не могла удержаться, чтобы не ехидничать, не задирать кузину. Обычно Наташа в таких случаях сразу обижалась и губы дула, и глаза у нее становились на мокрому месте, сама же торопилась сменить разговор, который для нее оборачивался насмешкой, а тут смотри, как вцепилась в свой дурацкий гарем, в черкешенок этих, и не свернешь!

– Когда же ты выучилась играть на лютне? – с язвительной улыбкой спросила Маша. – А петь и плясать? Тебе ведь вроде бы медведюшко на ухо наступил. И, коли память мне не изменяет, ты даже в мазурке не могла двух шагов кряду верно сделать, а в вальсе у тебя после первых же «и-раз-и-два-и-три» голова начинала кружиться!

– Ничего! – сердито выкрикнула Наташа. – Будь я черкешенкой, я бы в два счета выучилась и плясать, и на лютне играть! А ты, Машка, меня только нарочно дразнишь! – И слезы, крупные, словно капли внезапного июльского ливня, так и покатались по ее румяным, что наливные яблочки, щекам.

Маша немедленно устыдилась своего злоязычия, ей стало жалко кузину, и она решила поговорить о чем-нибудь для барышни Сосновской приятно.

– Ты, Наташа, не гневайся, – сказала она ласково и поцеловала кузину в дрожащее от рыданий плечико. – Ты у нас невеста на выданье, тебе о женихе своем, об Александре Петровиче Казанцеве, думать надобно, а ты куда мыслями улетаешь?

Маша изо всех сил попыталась произнести это имя – Александр Петрович Казанцев – как можно более твердо и безразлично, хотя и сама услышала, как дрогнул ее голос. Надо надеяться, Наташа ничего не заметила. Нет, прочь пустые девичьи мечтания, прочь прежние сны, которые не сбылись и никогда уже не сбудутся! Не для Маши Любавиновой радости жизни, все для нее кончено: в обществе она зовется теперь только Марьей Романовной, а не Машею, к ней обращаются на «вы», она вдова, носит только серый цвет, что означает второй год траура, капор у нее черный, и вуаль, и рюши на платьях, и оторочка на рукавах, и перчатки, и ботинки тоже черные. А на другой год ходить ей в лиловом, и еще год пройдет, прежде чем можно ей будет глаза от земли поднять. А тем временем Казанцев Александр Петрович женится на Наташе Сосновской...

И правильно сделает! Наташа свежа, как розан, куда там какой-то черкешенке с ее змеиными косами! Небось, кабы посмотрел на барышню Сосновскую султан турецкий, тотчас выбрал бы ее меж всех на свете черкешенок. Вот и Александр Петрович выбрал...

На что ему вдова Марья Романовна Любавинова, ворона неприглядная, у которой все лучшее позади? Теперь только и остается ждать, когда Господь милосердный ее приберет. Такому красавцу и удалцу, как Казанцев, нужна молоденькая барышня с ясными, полными жизни глазами, с готовностью к счастью, которой лучится ее улыбка. И Наташа Сосновская для него наилучшая невеста!

– Да что ты заладила: Александр Петрович да Александр Петрович? – весьма досадливо вздохнула меж тем Наташа. – Разве это настоящий жених? Он на меня и не смотрит. Помнишь, как твой Иван Николаевич, царство ему небесное, глаз с тебя не сводил да ухаживал за тобой? Букеты, конфеты, ленты шелковые и перчатки дарил, воздыханья испускал томные... даже стихи писал, ты мне почитать давала. Вот он был жених, я понимаю! А этот... а Александр Петрович... Право слово, если б наши батюшки не были друзьями с детства и не дали бы друг дружке слова когда-нибудь непременно поженить своих детей, он на меня и не глянул бы. Подобрал бы себе пару в Петербурге или хоть в Москве. Не стал бы в нашей глухой провинции искать простушку деревенскую. Нужна ли ему такая?

– Что ж ты такое нынче городишь, Наталья? – Маша даже руками всплеснула. – То черешенки на уме, то жених из женихов не по душе. Зачем напраслину на благородного человека возводишь? Кто тебе в уши напел ерунду всякую?

– Никто мне ничего не пел, – запальчиво возразила Наташа. – Просто Клавдия Гавриловна подслушала и мне передала: Маргарита-де Львовна говорила Матрене Семеновне, будто Осип Федорович сам слышал, мол, Александр Петрович жаловался после губернского бала – что, сказывал, за скука тут барышни, все-де по Пушкину у них выходит: и запоздалые наряды, и запоздалый склад речей, ни слова ладно сказать, ни станцевать не обучены. Вовсе не хочет он себя тут навеки похоронить с какой-нибудь перезрелой девицею...

– Ну, нашла кого слушать! – засмеялась Маша. – Что Клавдия Гавриловна, что Маргарита Львовна, что Матрена Семеновна – сплетницы завязтые. А Осип Федорович еще любой из них даст фору. Да и разве ты девица перезрелая? Тебе едва восемнадцать, в самый раз замуж идти!

– А может, я замуж за господина Казанцева вовсе не хочу? – с самым независимым видом спросила Наташа.

– Как не хочешь?! – опешила Маша.

– Да вот так – не хочу, и все! Кто он? Кавалерийский офицер, только и всего. Ты много ли счастья обрела в браке с офицером? Вдовеешь, томишься в одиночестве, красота твоя вянет, никому не нужная. Тебе еще год мучиться в трауре, прежде чем прилично будет на мужчин смотреть, да ведь еще и вопрос, взглянет ли на тебя, горькую вдовицу, хороший жених!

Маша слушала кухню и не верила ушам. Да, если жизнь заставила ее повзрослеть, то и Наташа перестала быть той же простодушной дурешкой, какой Маша ее по привычке считает. Своим умом дошла до таких печальных истин? Или все же с чужих слов повторяет?

– Но ведь Казанцев – красавец писанный, лучше его только в романе сыщешь, – начала было Маша, но голос ее задрожал от нежности, и она тотчас спохватилась, что куда-то не туда заносит ее. Спыхватилась – и торопливо заговорила самым благоразумным на свете голосом: – Не ко всякой жене служилого человека так немилосердна судьба, как ко мне была. И мыслимо ли под венец идти, коли не веришь, что век с милым счастливо проживешь?

Сказав это, Маша вдруг обнаружила, что Наташа ее совершенно не слушает. Глаза ее были прикованы к окну, за которым сгушался вечер, а маленькие розовые ушки, чудилось, стояли торчком.

Маша обернулась, но за окном ничего, кроме серой мути – в разгар радостного мая вдруг нанесло непогоду, выпал дождь со снегом, кругом было туманно и слякотно, – не обнаружила.

Хотя нет... вроде бы тень какая-то мелькнула. Мелькнула – да и скрылась. Словно бы стоял за окном кто-то и вглядывался в девиц, а потом порскнул в сторону и скрылся незамеченный.

Почудилось? Или нет? Кому бы там стоять, мерзнуть да мокнуть?

Маша исподтишка взглянула на кухню. Ох, как горят Наташины светлые глаза! В чем дело-то? А что, если кухня влюблена, да вовсе не в господина Казанцева? Что, если завелся у нее тайный воздыхатель? И стал он к ней под окошко хаживать, девичий покой смущать? Коли в дело мешаются сердечные склонности, небось непогода не помеха, еще и лучше, никакая собака из конуры носу не высунет и не облает незваного гостя...

А знает ли об этом Алексей Васильевич Сосновский, Наташин папенька? Знает ли Неонила Никодимовна, ее маменька? Ох, навряд ли...

А может быть, это все домыслы Машины? У самой душа не на месте, вечно приходится скрывать да таить свои мечты и желания, в угоду приличиям притворяясь, вот и мерещится, будто все таким же притворством живут. И все же она спросила у кухни настроенно:

– Что там такое?

– Да так, ничего, – пожалала плечами Наташа. – Знать, почудилось. А не полно ли нам лясы точить, Машенька? Пошли лучше на кухню, возьмем там простокваши и станем ее с медом есть. Хочешь?

Маша растрогалась. Простокваша с медом была ее самым любимым лакомством, самым сладким воспоминанием о жизни в доме Сосновских. Как хорошо, что Наташа об этом не забыла! Как приятно, что есть на свете человек, который готов потакать твоей невинной прихоти, который о тебе заботится! Заботой о себе Маша отнюдь не была избалована. Простоквашей с медом – тоже. В Любавинове Нил Нилыч знай ворчал, что только деревенщина на ночь простоквашу любит хлебать деревянной ложкой из миски-долбленки, урча и брызгая кругом себя. И хоть Маша предпочитала не деревянную ложку, а серебряную, и не миску-долбленку, а чашку порцелиновую, да и ела деликатно, не роняя ни капельки, все равно прихоти своей она стеснялась, кабы не сказать – стыдилась.

Еще Нил Нилыч частенько пророчил: мол, у любителей простокваши рано или поздно заверчение кишок начинается. Маша, конечно, во всякие такие глупости не верила, однако нынче вечером подумала, что зловредный дядюшка покойного майора Любавинова не всегда молол чепуху, иногда он и дело говорил. Отчего-то, лишь встала она из-за вечернего стола, так и скрутило нутро! И больно, и тошно, и муторно, и стыдно, да разве прилично признавать, что хворь ее стряслась просто-напросто оттого, что печальница-вдова, тайно вздыхающая об чужом женихе, простокваши с медом переела?!

Ничего, подумала Маша, скрывая боль и отправляясь в свою опочивальню с самым спартанским и героическим видом, отлежусь, вот все и пройдет.

Однако не прошло, а среди ночи еще ухудшилось.

На ее стоны прибежала горничная девушка Лушенька, привезенная из Любавинова, и принялась подавать прихворнувшей барыне ведро (Машу жестоко рвало), менять ей на лбу мокрое полотенце (Машу то и дело кидало в жар), а также причитать да охать, доискиваясь до причин ее внезапной хвори.

– Видать, мед плохо перегнали, вот вощанка у вас внутри и скукожилась от простоквашного холоду, – сказала Лушенька с ужимками заправского лекаря. – Давайте-ка я вам чайку ромашкового заварю, да погорячей, чтобы вощанку растопить и нутро очистить.

Маша согласилась. Она так страдала, что на все готова была. Но что толку? От огромной кружки чаю с привкусом ромашки только хуже сделалось.

– Погодите, барыня, – проговорила вдруг Лушенька с самым что ни на есть таинственным видом. – Да вы не чреваты ли?! Уж больно крепко вас мутит! Как пить дать чреваты!

– Что ты городишь, Лушенька? – гневно воскликнула Маша. – Как же это мне быть чреватой? С какой стати? Покойный супруг мой в Любавинове за год до гибели своей побывал, а со времени оной еще год минул. Как в народе говорят, ветром надуло, что ли? Или, бабьи сказки вспомянув, скажем, что Змей Огненный меня в моей тоске по милом усопшем друге наведывал?!

– Ой, барыня, да в такую чепуху разве только дети малые верят, деревенщина всякая, – по-свойски отмахнулась Лушенька. – И барин наш покойный, смею сказать, тут вовсе ни при чем...

– А кто же при чем?! – изумилась Маша.

Лушенька прелукаво усмехнулась:

– А вот это, сударыня, вам небось лучше ведомо!

И она умолкла, многозначительно поводя глазами, а Маша уставилась на нее в бессильной ярости.

Ну наконец-то, хоть и с превеликим трудом, до нее дошло, на что намекает глупая девка. Да где там – намекает?! Лушенька только что впрямую не обвиняет ее в непристойном поведении и в тайных амурах! Ее, вдову! В тайных амурах! До окончания срока траура!

Да мыслимо ли такое? Даже если это – просто танец в Собрании или самая невинная прогулка? Ни-ни, никак нельзя, невозможно. А уж непристойности всякие...

Маша хотела обрушиться на глупую девку с проклятиями, как вдруг взглянула ближе в круглые от возбуждения Лушенькины глаза – да так и обмерла, перепугавшись насмерть. У Лушеньки не язык, а сущее помело. Никакая Матрена Семеновна, никакой Осип Федорович с нею не сравнятся. И если Лушенька начнет этим помелом трепать, пропало доброе имя вдовы Любавиновой. Вовеки пропало, потому что на чужой роток не накинешь платок, а люди недобры и неистощимы на злоречия о ближних.

Что же делать? Как себя оградить от сплетен? Запугивать Лушеньку, мол, продаст ее хозяйка на сторону, если хоть единую сплетню о себе услышит? Или, наоборот, подкупить добром и ласкою? Ох, нет, таким, как Лушенька, ни единого повода языком молоть давать нельзя, для них день без сплетен напрасно прожит!

– Послушайте-ка, барыня, – нерешительно проговорила вдруг Лушенька. – А что, коли я к вам знахарку приведу? Есть тут одна... недавно поселилась. Бабы рассказывают, никто лучше ее наши женские хворости не распознает. Иная еще только размышляет о том, что, может, пора собраться ей зачреватеть, а бабка эта уже про то ведает. Иная же ходит да перед мужем и родней чванится: я-де скоро произведу на свет наследника, – а у ней на самом деле брюхо водяною вспучило, никакого ребеночка там и в помине не было.

А уж как знатно пользует она всякие болести живота! Кости вправляет, суставы разминает, тягость сердечную унимает, сон успокаивает, косоглазие заговаривает, зубную боль зашептывает...

Как ни была Маша озабочена муками в желудке и могущими из того произойти Лушенькиными сплетнями, она не могла не засмеяться:

– Да это не бабка-знахарка, а целый докторский консилиум! – И тут же новый приступ тошноты заставил ее склониться к поганому ведру.

«Да чтоб я хоть еще ложку простокваши с медом в рот взяла!» – подумала Маша, отирая лицо, покрытое влажным потом, и от этой мысли стало ей еще мутрнее.

– Делайте со мной что хотите, барыня, а я бегу за той бабкою! – решительно объявила Лушенька. – Нет мочи моей глядеть, как вы мучаетесь! Она тишком-украдкой войдет, тишком-украдкой уйдет, никто и знать ничего не узнает. Полтину за труд не пожалеете, а взамен облегчение несказанное получите.

В это время Маше таково-то дурно сделалось, что она готова была к самому черту лысому за помощью обратиться, не то что к какой-то бабке-чудотворнице.

– Зови кого хочешь! – простонала она и почти в беспамятстве откинулась на подушку.

* * *

– Ну и кто тебя силком под венец тащит? – сердито спросил Петр Свейский и даже кулаком по столу стукнул от возмущения. – Небось нынче не старое время, нынче даже девок неволею не венчают, не то что нашего брата, мужчину!

Александр Казанцев поглядел на приятеля насмешливо:

– Кто бы говорил!

В самом деле. Не далее как год тому назад самого Петра Свейского его кузен Сергей Проказов, по рукам и ногам скрутив, приволок в домашнюю церковь и приказал, воли Петровой не спросясь, обвенчать брата с какой-то вздорной и распутной актрисулькой, чтобы не только опорочить Петра, но и навеки закрыть для него возможность получить пребогатое наследство.

Однако интрига Проказова против него же и обернулась, потому что доверенный слуга, Савка Резь, все на свете перепутав, привез к Петру под венец богатую невесту, умницу, красавицу и сущего ангела во плоти, Анюту Осмоловскую, в кою Петруша с первого же взгляда влюбился, ну а она, как водится в сказках или в сердцещипательных книжках, немедленно влюбилась в него¹.

С тех пор жили они, не зная тоски и не ведая печали, к тому же недавно Анна Викторовна родила сына, и Свейский, который прежде слыл малым весьма бестолковым и шалым, неучем и выпивохою, сразу превратился в добродетельнейшего из мужей и заботливейшего из папаш. Редко-редко удавалось сманить его в компанию друзей юности, вот только ради приезда в N столичного жителя, стародавнего друга Казанцева, отлучился он от семейного очага. И очень опечалился, услышав от приятеля, что тот нимало не желает исполнять обет своего отца и жениться на дочери его боевого друга Сосновского. Первое дело, барышня Наталья Алексеевна Александру совсем не по нраву. Второе – приданое у нее вовсе не таково, ради которого можно и на немилую жену с нежностью поглядеть. Третье – Казанцев вообще пока не считал себя человеком, для брачного венца приуроченным. Он, как говорится, не нагулялся, а нагуливаться себе определил еще года четыре самое малое. Алексей же Васильевич Сосновский полагал, что его дочь и так в девках пересиживает, и со свадьбою торопил. Но главная причина нежелания Казанцева налагать на себя неразрешимые узы была та, что сердце его занимала другая, да вот беда – меж ними лежали некие неодолимые препятствия, открывать кои Казанцев приятелям (кроме Свейского, за бутылкою вина и сигарою коротали время еще двое – полковой товарищ Александра Петровича, с ним приехавший в N, по фамилии Охотников и кавалерийский ремонтер² Сермяжный, с которым наши герои познакомились лишь недавно, за карточным столом) отказался.

Впрочем, невелик труд был догадаться: либо чувства Казанцева к неведомой особе безответны, либо дама замужем и никакой компрометации для себя не желает. Однако, когда приятели эти препятствия Казанцеву высказали, он только плечами пожал и сделал самую скучную гримасу, коя значила: вы, господа хорошие, ничегошеньки понять не способны в чувствах моих и моего сердечного предмета!

– Ну что ж, – сказал тут поручик Охотников, откладывая сигару и раскуривая трубку, по его мнению, более подходящую для человека военного, – среди вдовушек попадаются иной раз премилые создания...

Реплика произнесена была как бы в никуда, к слову, однако Казанцев мигом насторожился, да и у Свейского с Сермяжным сделались ушки на макушке. Приятели значительно переглянулись, и не просто так переглянулись, а даже и перемигнулись, поскольку именно в то время в N гостила особа, коя вполне могла вскружить голову Казанцеву. Это была госпожа Любавинова, лишившаяся супруга год назад или чуть более того. Свейский тут же вспомнил, что с тех пор, как Казанцев с ней повидался на званом обеде и имел честь побеседовать о минувших годах, когда они, наивные, невинные дети, пешком ходили под стол, у него и отшибло всякий интерес к барышне Сосновской. Конечно, не увязать эти два момента было никак невозможно, вот Свейский их и увязал.

Да-с, увязал – и помолчал сочувственно. Марья Романовна Любавинова слыла и красавицей, и умницей, и всякому мужчине могла бы составить счастье. К тому же, по слухам, от покойного супруга досталось ей немалое наследство, как в недвижимости, так и ассигнациями и ценными бумагами. Но она была ближайшей родственницей Натальи Сосновской, и отвергнуть одну кузину, чтобы взять в жены другую, предпочесть состоятельную даму небогатой – поступок для Казанцева, конечно же, совершенно немыслимый. Скандал, бесчестие,

¹ Об этой истории можно прочитать в романе Елены Арсеньевой «Звезда на содержании», издательство «Эксмо».

² Ремонтер – офицер, занимающийся закупкой лошадей.

позор Сосновских, ссора со старинным другом отца, до конца дней прилипшая слава охотника за приданым и человека, своего слова не держащего, к тому же не уважающего памяти боевого офицера Любавинова, сложившего голову на Кавказе, где и сам Казанцев рисковал жизнью до того, как начал помышлять об отставке, – нет, чтобы все это выдержать, нужны нервы покрепче, нежели те, коими обладает Александр Петрович Казанцев!

– Да ладно взоры тупить и голову клонить долу! – вдруг воскликнул Охотников, принадлежавший, как показалось Свейскому, к числу людей, которые и других своими печальми не обременяют, и сами невзгоды чужие взваливать на свои плечи нипочем не желают. – Сколько ни живу на свете, одно заметил, самое главное: все так или иначе улаживается. Надобно только набраться терпения и положиться на волю Божию. Другое дело, что Его воля не всегда совпадает с нашим пониманием справедливости. Любит Он награждать ненавидящих нас и ненавидимых нами, а нас обижать. Но с этим мы ничего поделать не можем, потому принуждены смиряться, в утешение себе оставляя сакраментальную фразу: непрямыми путями ведет нас Господь к счастью... и молить Господа, чтобы хватило нашей жизни убедиться в Его правоте.

– Да ты, брат Охотников, оказывается, философ и фаталист! – усмехнулся Казанцев. – И немножко святоша и ханжа. Давно ли?

– В святости чрезмерной, тем паче в ханжестве не замечался отродясь, за что и бывал без счета бит и таскан за вихры няньками и гувернерами, – бодро заявил Охотников, подмигивая шалым зеленым глазом, а его рыжеватые волосы при этом словно бы сделались вовсе огненными от внутреннего задора. – Что ж касаемо до фатализма, то страдаю сим недугом с тех самых пор, как был ранен в разведке чеченской пулею, слетел с седла и, лишенный сознания, оказался покинут своим товарищем, который ударился в бегство. Эту историю я не слишком люблю рассказывать, но коли уж так к слову пришлось... Слушайте, господа, она весьма поучительна. Итак, взяли меня в плен раненого и швырнули в яму в ожидании выкупа. Ситуация довольно обычная среди наших кавказских приключений! Вскороности в ту же ямину ко мне сбросили голову неверного товарища моего, меня в трудную минуту покинувшего на произвол судьбы и врага. Это был первый случай для подкрепления моего фатализма... Разумеется, над случившимся я нимало не злорадствовал: и потому, что жаль было дурака, и потому, что отныне смердело в моей и без того вонючей ямине еще и мертвечиною. К тому же, я не сомневался, что очень скоро за тем несчастным и сам последую, ведь у меня не имелось тогда ни своих капиталов, ни родительских. Матушка моя в ту пору едва сводила концы с концами, это уж после наши обстоятельства значительно поправились, а тогда платить за мою жизнь было некому и нечем. Вдобавок рана моя начала нагнаиваться, и я предполагал, что от антонова огня помру прежде, нежели от сабли разгневанного мной неплатежеспособностью аги³, меня пленившего. Но случилось так, что я был отбит нашим боевым отрядом. Вот тут мой фатализм и еще пуще укрепился – вторично. Теперь я ожидаю, когда третий случай к тому представится.

– Что за третий случай? – живо любопытствовал Свейский, который, как и подобает человеку сугубо статскому, слушал заливчатский рассказ Охотникова с почтительным и трепетным вниманием.

– История приключилась совершенно невероятная, – усмехнулся поручик. – Знаешь ли ты, Казанцев, что-нибудь о вице-консуле французском, который недавно обосновался в столице?

– Да так, с пятого на десятое слышал что-то, – пожал плечами Казанцев. – Ничего, впрочем, особенного. Говорят, редко он бывает в свете, зато в обязанностях своих сведущ. Но мне до того вице-консула дела нет ровно никакого, чтобы я им озабочивался. А что в нем тебе?

³ *Ага* (господин – *тюрк.*) – в Турции и порою на Кавказе в описываемое время так титуловались военачальники, в том числе командиры янычар. *Янычары* – регулярная турецкая пехота XIV–XIX веков. Многие служили в войсках Наполеона.

– Сейчас объясню, – сказал Охотников с самым загадочным видом. – Фамилия его Мюрат, точь-в-точь как у родственника Бонапартова, однако тому сия восточная фамилия пристала куда больше, нежели Мюрату прежнему, потому что вице-консул сей – не кто иной, как тот самый чеченский ага, у коего я был в плену, в ямине! Тогда он сбежал при нашем наступлении, лишив меня удовольствия перерезать ему горло, как он перерезал его моему несчастному товарищу, и вот теперь снова появился предо мною!

– Полно врать! – насмешливо возразил Сермяжный, доселе помалкивающий. – Это уж, воля ваша, бабушкины сказки!

– Ни бабушкины, ни дедушкины! – покачал головой Охотников. – Увидев его в первый раз совершенно случайно, я подумал, что спятил от ненависти, которая во мне за весь год, минувший после плена, не искоренилась ни на йоту. Но я слишком часто видел это лицо, склоняющееся над моим узилищем, слишком часто слышал этот голос, выкрикивающий мне, русскому, самые черные оскорбления. И я вспомнил, что выговор аги казался мне и в ту пору очень странным. Конечно, я был ранен, болен, я метался в жару и ожидал смерти, однако приходило мне на ум, что этак выговаривать их тарабарские слова мог бы не природный кавказец, а европеец. Причем не русский – наш акцент несколько иной. После мимолетной встречи с Мюратом в Петербурге я никак не мог успокоиться, начал делать кое-какие тайные расспросы – и вот что в скором времени узнал. Оказывается, новый вице-консул – и в самом деле дальний родственник того самого Иоахима Мюрата, который был женат на Каролине Бонапарт! По младости лет он не мог участвовать в военных действиях Наполеоновой армии, однако ненависть к русским, лишившим род его прежнего величия и над Францией блистательную победу одержавшим, затаил и взлелеял. Среди его воспитателей имелся один из янычар, на стороне Наполеона служивших и ему преданных. Этот янычар был родом чечен, выросший в Турции, он-то и научил мальчика своему языку и турецкому, он-то и привил ему страсть к восточным обычаям. Ненависть Мюрата к России оказалась столь велика, что года два назад, рискуя своей дипломатической карьерою, он повадился наезжать на Кавказ и принимать участие в военных действиях против наших регулярных частей. Об этом известно немногим косвенно, как и мне, более по слухам. Доказательно никто ничего сказать не может. Не могу и я, хоть не сомневаюсь в этом. Ввязаться сейчас с Мюратом в свару значило бы оказать дурную услугу отечеству. Дипломатический скандал, то да се... Но я почему-то не сомневаюсь, что мой случай свести с ним счеты еще настанет. Именно в этом и будет состоять полное и окончательное подкрепление моего фатализма.

– Да... – мечтательно проговорил Сермяжный. – Коли это тот самый ага, то, конечно, вам, господин поручик, сдерживаться в его присутствии весьма затруднительно. Я бы не смог... право, не смог бы! Кровь бы взыграла во мне, и я непременно поквитался бы с обидчиком, а там – будь что будет.

– Сразу видно, что вы, господин ремонтер, ни разу не только на Кавказе не были, но и вовсе в боевых действиях не участвовали, – снисходительно улыбнулся Охотников. – Иначе знали бы, что очертя голову в схватку отнюдь не храбрецы, а одни лишь дураки слабодушные бросаются. Иной раз нужно в засаде часами сидеть, чтобы противника рассмотреть как следует, увидеть его самые слабые стороны, а потом ударить по нему во всю силу и мощь, да так, чтобы от него одни охвостья посыпались, как от драной курицы. Вот я себе сейчас представляю таким нашим егерем, который сидит в засаде и выжидает, пока противник, ошестиненный отрядами своих абреков, расслабитя и подставит ему незащищенный бок.

– Что вы сказали?! – обиженно возопил Сермяжный, уловивший из последних слов Охотникова только то, что касалось его и показалось ему оскорбительным. – Что вы сказать изволили, сударь?! Вы меня в тыловых крысах числите, что ли?! Да я... да вы знаете ль... да как смели вы... стреляться незамедлительно... да я обиды этакой никому не спущу, тем паче вам!

– А чем это я пред вами так выдвинулся, что вы именно мне ничего спускать не желаете и именно мне предоставляете честь вышибить вам мозги пулею? – ухмыльнулся Охотников, довольно, впрочем, лениво. – Заметьте, я стреляться не отказываюсь, коли охота такая вашей милости приспела, да только помнить прошу, что стреляю я без промаха, сразу в яблочко, хотя бы и на тридцати шагах... разумеется, ежели только, как Сильвио у Пушкина, из знакомых пистолетов, ну а когда оружие непристрелянное или чужое, то, пожалуй, могу на полвершка промазать. Я не извиняюсь и не трушу, просто желательно знать, чем именно я вас оскорбил? Неужто тем, что сказал, будто вы на Кавказе не служили? Да каков же в том позор, какое оскорбление? Государь император Николай Павлович тоже там не служил, ну так и что? Это вовсе не мешает ему оставаться великим русским государем. И вам не мешает свои ремонтерские обязанности справлять как подобает. Поэтому, сударь, давайте-ка положимся на волю старинной мудрости – утро-де вечера мудренее – и вернемся к сему разговору после крепкого сна. И ежели вы, когда легкий хмель и угар табачный из вашей головы выветрятся, по-прежнему будете числить меня в своих обидчиках, – ну что ж, извольте, устроим моему фатализму новую проверку.

– В самом деле! – суетливо заговорил Свейский, необычайно обрадованный тем, что пламень ссоры, вспыхнувший было на его сугубо мирных глазах, не превратился в непогашаемый пожар. – В самом деле, господа, не сомневаюсь, что поутру вам даже вспомнить смешно будет об этакой безделице. А теперь нам по квартирам пора; кому угодно, завезу на дом – я со своим экипажем. А завтра сойдемся и все решим по-хорошему: обнимемся, поцелуемся да примиримся. Казанцев, хоть ты им скажи, мол, не дело этак свариться!

Казанцев в роли миротворца выступить не успел – Сермяжный вновь заговорил, причем весьма заносчиво:

– Вы, любезный Петр Васильевич, ничего, ровно ничего в наших военных доблестях не понимаете, вы человек статский, а потому не извольте мешаться, коли вас не спрашивают. Целоваться же и миловаться вон со своей женой ступайте, сидите рядом с ней, словно к юбкам ее притороченный, сие вам более пристало при натуре вашей, Филемона при Бавкиде напоминающей!

– Что?! – набычился и покраснел обычно тишайший Свейский. – Да вы никак на новую дуэль нарывааетесь? Я пусть и не пристреливался по движущимся чеченским мишеням, однако же охотник с малолетства, и стрелок преизрядный: птицу бью влет, белке попадаю точно в глаз, а значит, голову любому оскорбителю продырявлю – и не охну при том!

– Господа, господа! – развел руками Казанцев, изумленно наблюдающий за тем, как из крохотной искорки вновь разгорается неистовый пламень. – Позвольте наконец воззвать к вашему благоразумию, покуда вы тут друг друга из-за пустяков не убили!

– Убили! – эхом отозвался чей-то голос. – Без ножа зарезали! Обесчестили! По миру пустили!

Казанцев, а вслед за ним и Охотников со Свейским и Сермяжным, напоминающие троицу нахохленных петухов, обернулись к входным дверям и с изумлением узрели человека лет пятидесяти почтенной наружности, только очень бледного, словно бы мукой обсыпанного, на манер театрального Пьеро, одетого хоть не в белый его балахон с длинными рукавами, но тоже отнюдь не пригодно для появления в обществе. Он был в благообразных ночных одеяниях, то есть в исподниках и накинутом поверх ночной рубахи архалуке, исполнявшем, по-видимому, роль домашнего халата. На голове сего господина чудом удерживался ночной колпак с кисточкой, напоминающий феску, только не красный, а желтый в полоску, а на ногах были турецкие туфли без задников и с загнутыми носами. Ну да, хоть и воевала Россия с Турцией да кавказцами беспрестанно, а все ж мода на восточное, особенно в домашней одежде, не искоренялась. Оставалось только диву даваться, как он шел в таком виде по улице... Ночь, конечно, на дворе претемная, а все же не комильфо... Да уж не сумасшедший ли?!

– Боже мой, да ведь это Алексей Васильевич Сосновский! – изумленно воскликнул Свейский, и только тогда Казанцев в этом бледном, потрясенном господине узнал своего будущего тестя, то есть человека, которого он тестем называть ни в коем случае не хотел бы, несмотря на то что он был бы чувствительно рад им зваться и другой участи для себя не желал... Впрочем, не станем вдаваться в сии подробности, они только уведут нить нашего повествования в сторону, а между тем, судя по крайнему отчаянию на лице Сосновского, дела его обстояли очень плохо.

– Что случилось, Алексей Васильевич? – подступил к нему Свейский, и в словах его было столько сочувствия, а в выражении лица и жестах – столько неподдельной доброты, что Сосновский смог собраться с силами и дрожащим голосом вымолвить:

– Украла! Украла дочь мою!

* * *

Случается, конечно, что после врачевания больной чувствует себя даже хуже, чем до него. Случается, услуги лекарские оборачиваются не столько в пользу, сколько во вред. Марья Романовна Любавинова вообще хворала так редко, что с докторами почти не зналась. Одна-две микстуры, выпитые за всю ее жизнь более из любопытства, чем по острой необходимости, знатоком медицины ее, конечно, не сделали. Однако даже и она, при всем своем невежестве, прекрасно понимала, что ежели больной после врачебного обиходу вдруг обезноживает, теряет способность к владению членами, делается недвижен, точно колода, ежели он к тому же слепнет и звука издать не в силах, а в голове его муть мутная воцарилась, значит сие одно из двух: либо дни его уже отмерены, либо лекарь нехорош и надобно срочно звать другого. Пожалуй, Марья Романовна так и поступила бы, когда б могла хоть слово молвить или шевельнуть рукой или ногой. Однако из всех чувств, дарованных Творцом человеку, при ней отныне оставался только слух. Даже памятью своей она сейчас почти не владела: только и брезжило в ней мутное воспоминание о какой-то лютой боли, скручивающей ее нутро, да о мрачном темноглазном лице, вдруг явившемся ради облегчения сей боли, но вместо этого ввергнувшем Машу в бездну неподвижности. Еще отчего-то приходил ей на память испуганный Наташин крик и Лушенькино угодливое хихиканье, но чем была так напугана Наташа и перед кем угодничала Лушенька – сего Маше припомнить никак не удавалось.

Поскольку она не могла ничего делать иного, она только знай напрягала память, и от напряжения этого возникали пред ее внутренним взором картины каких-то полутемных лестниц и переходов, легкий пламень лучинки, заслоненной чьей-то ладонью так заботливо, что свет едва-едва просачивался меж пальцами. «Тише, тише, барышни! – шептал кто-то заговорщически. – Тише, Наталья Алексеевна, вы уже Марью Романовну-то поддерживайте, а то, не ровен час, сверзится с лестницы и кости переломает!» Отчего-то в шепотке том слышалась Маше насмешка, а может, ей это только чудилось. Потом вспомнилось ей ощущение холода, прилипшего к ногам... вроде бы она босая вышла на слякотный снег... да, совершенно точно, именно так и было, потому что новый, внезапно возникший голос произнес укоризненно: «Да что ж вы, госпожи мои, выскочили неодетые и необутые?! Разве впрок леченья пойдут, коли разом еще и другая хворь привяжется?» Лушенька растерянно забормотала что-то о том, как она спешила привести захворавшую Марью Романовну, а Наталья Алексеевна так-де желала ее побыстрее сопроводить, что и думать забыла о таких мелочах, как одеванье-обуванье.

– Ладно, – проговорил тогда незнакомый голос... он был и не женский, как припомнилось сейчас Марье Романовне, и не мужской, и лицо, выступившее из ночной тьмы и слабо освещенное лучинкою, кою держала Лушенька, тоже оказалось не женское и не мужское... но страшное и мрачное до того, что Маша едва не обмерла от ужаса, а Наташа испуганно пискнула. – Ничего, мы обо всем позаботились, у нас с собой в возке и одежда для барышень, и

обувь для них, да такая, какой они прежде никогда и не нашивали. Мигом все свои печали и болезни забудут, как только переоденутся, тем паче что одежда сия – наговоренная, пропитанная чародейными куреньями, от которых все дурные веяния жизненные выветриваются, а льнут к красавицам лишь богатство и любовная удача, а впереди их ожидает одна только райская жизнь.

Маша, сколь она сейчас в состоянии была вспомнить, немного удивилась этим разговорам, потому что шла-то она к знахарке, желая получить облегчение своим страданиям, а вовсе не обрести красоту или богатство, коих у нее и своих имелось довольно, ну а райская жизнь, по ее скромному разумению, могла ожидать ее лишь в раю, то есть за пределами жизни земной... Однако времени размышлять о том у нее особого не было: ее подхватили чьи-то сильные руки – не Лушенькины и не Наташины – и оторвали от земли, а голос этот – странный, низкий, протяжный, тревожный и чарующий враз – не то шептал, не то напевал успокаивающе: все, мол, боли и тревоги сейчас минуют, нужно только успокоиться, закрыть глаза... Маша послушалась, смежила усталые веки – мигом сладкая дрема начала на нее напозать, а боль и в самом деле стала откатываться, невесомая и легкая, словно ком перекасти-поля, гонимый ветром по траве. И настывшим ногам сделалось так тепло, так хорошо, словно их завернули в мягкий соболий мех...

– Вот сюда извольте, красавицы мои, – прожурчал голос, а потом Наташа издала тот самый испуганный вскрик, Лушенька хитренько засмеялась, а Марья Романовна на некоторое время лишилась возможности ощущать мир окружающий. И теперь она пребывала в темноте и неподвижности, пытаясь осознать и связать воедино обрывки своих воспоминаний, одновременно прислушиваясь к долетающим до нее звукам.

Звуки были весьма странны. Кто-то уныло пел песню на неизвестном Маше языке. Она недурно болтала по-французски, знала чуточку немецкого и даже могла бы исполнить романс по-итальянски, однако ни французским, ни немецким, ни итальянским сей язык совершенно точно не являлся. Песня иной раз сменялась разговором. Беседовали меж собой двое, однако были их голоса мужскими или женскими, Маша не могла определить. То вроде бы сварились на визге две бабы, то лаялись на басах два мужика... а может, их и в самом деле было там четверо, не Маше в ее полубесчувственном состоянии различать такие тонкости! Порой вроде бы долетал до нее Лушенькин голос, правда, на сей раз не веселый и смеющийся, озорной и лукавый, каким Маша привыкла его слышать, а жалобный, стонущий, молящий, но голос этот постоянно прерывался резким, хлестким звуком затрешины и переходил в тихий, горький плач. Жалость подкатывала тогда к Машиному сердцу, она пыталась двинуться, шевельнуть рукой или разомкнуть губы, чтобы утешить Лушеньку, спросить, кто ее обидел, но ничего сделать не могла. Не только движение, но даже самая малая попытка его причиняла ей невыносимое утомление, и она вновь погружалась в сон или в забытие, чтобы лишь ненадолго из него вырваться для бессвязных воспоминаний и столь же бессвязного восприятия окружающего. Постепенно начала доходить до нее мысль, что ее куда-то везут, а может, несут, но куда, кто и зачем, почему длится это столь долго и мучительно, понять было совершенно невозможно. Поскольку Наташиного голоса она близ себя не слышала, следовало думать, что Наташа в ее вынужденном и затянувшемся путешествии не участвует. Маша сама не понимала, радует это ее или печалит, когда вновь погружалась в забытие, конца которому она не видела.

* * *

– Мы с женой ездили на крестины, – рассказывал Сосновский погодя, несколько придя в себя, вернее, будучи приведен в сознание насильно влитой в него рюмкой марсалы. – А тут непогода ударила. Чтоб не ехать по распутице, хотели остаться ночевать там, где гостевали, однако что-то томило меня, какое-то беспокойство, да и жене было не по себе. Все-таки дома

оставалась дочь под приглядом одной только нашей молодой гостьи, а мало ли что может случиться с двумя беззащитными особами женского полу! Поэтому велели мы запрягать и погнали во весь опор, не слушая ворчания нашего кучера, убежденного, что не сносить нам головы при скачке по той наледи, коя налегла на дорогах, даром что апрель на исходе. Надо вам сказать, что был один миг, когда показалось нам, что Васька наш истинным пророком заделался: наш возок едва не столкнулся с другим, очертя голову несшимся от города. Кучер облаял нас на каком-то басурманском наречии, что-то про яму крикнул, в которую наша башка непременно свалится, – и растаял вдали, в серой мокряди, а наш Васька едва с конями сладил и тишком потрусил дальше, потому что руки у него от страха дрожали и тряслись. Оттого явились мы домой далеко за полночь и ничуть не были изумлены тем, что нас никто не встречает и не бросается нам в объятия с поцелуями и расспросами. Конечно, в такую пору все давно должны спать: и Наташа, и гостья наша, Марья Романовна, и прислуга. Отправились в опочивальню и мы с супругою, однако все же беспокойно было у нее на сердце, вот и решила она пойти навестить дочку. Подошла к опочивальне тихою стопою да и узрела, что двери растворены. Заглянула и видит, что огонь в печи догорает без присмотра, и в слабых отсветах его различила она, что Наташина постель пуста. Сердце у нее, конечно, тревожно сжалось, но еще оставалась надежда, что Наташа пошла на сон грядущий поболтать с подружкой своей и кузиною Машей Любавиновой. Но и в спальне гостьи нашей царило то же опустение, точно так же угасал огонь в печи и пребывала разобранной и перемятой постель. Кроме того, обнаружили мы в сей спальне большой беспорядок: стояли на полу ковши с водой и ведро с блевотою, а также валялся флакон с нюхательными солями. Ни Маши, ни Наташи нигде не было. Кинулись мы искать – и выяснили, что дочь наша и гостья исчезли, а вместе с ними пропала без следа горничная девушка госпожи Любавиновой Лушенька. И где их теперь искать, кто тот злодей, который покусился на единственное наше сокровище, украв и дочку, и Марью Романовну, совершенно неведомо!

С этими словами Сосновский снова залился слезами, а Свейский опять принялся подносить ему марсалы да обмахивать несчастного отца платком.

– Что ж могло приключиться? – растерянно проговорил Казанцев. – Ума не приложу! Вы говорите, дамы украдены... но мы, чай, не в пограничных с Кавказом землях живем, чтобы абреки безнаказанно врывались в мирные дома и крали красавиц на продажу в турецкие гаремы. На Волге, в мирном городе N, сколь я сведом, вольница понизовская давненько не озорует тож. Кем они могли быть увезены?!

– А по моему разумению, никакой особой премудрости здесь нет, – с видом знатока изрек ремонтер Сермяжный. – И именно что увезены девицы... в том смысле, что увозом ушли. Увозом, понимаете ли, господа хорошие?

Присутствующие смотрели на него ошарашенно. *Уйти увозом* означало, что девица решила выйти замуж против воли родительской и тайно сбежала с кавалером под венец. При этих словах Казанцеву кровь от стыда в лицо бросилась, а Охотников сочувственно покачал головой. Сосновский же слабо зашарил по карманам своего необъятного архалука и извлек на свет Божий какую-то смятую бумажку.

– Погодите, господа, – промямлил он растерянно. – Я начисто позабыл, что на Наташином рабочем столике, подле пялец с вышиваньем, кое делала она на кисете в подарок жениху, то есть вам, Александр Петрович, мы нашли вот это письмецо. Извольте взглянуть... что скажете на сие?!

Все четверо мужчин склонились над бумажной четвертушкой, с обеих сторон исписанной следующими странными словесами:

«Милый батюшка и родной матушка, не велите башка с плеч рубить, велите слово молвить. Я, дочь ваша непокорная, припадаю к стопам вашим и молю о прощении за то, что решилась нарушить вашу волю и бежать с возлюбленным джигитом. Простите меня и позабудьте навсегда, я не вернусь, доколе Господь всемилостивейший не свершит над нами правед-

ный суд. Не ищите меня, я буду жить, подобно гурии в райском саду, а за вас вечно стану молить пророка Ису. Госпожа Любавинова проводит меня к венцу и вернется в свое имя. Прощайте навеки, дочь ваша Наталья».

– Ага! – торжествующе вскричал Сермяжный и закатился хохотом. – Я же говорил! Ларчик просто открывался! Девушка нашла себе другого! Так что успокойтесь, дружище Казанцев, и вы, голубчик, – сие адресовалось Сосновскому, – опыт жизни учит меня, что не минует и месяца, как дочь ваша воротится к вам с повинной головою... а еще, возможно, с отягощенным подолом, но это уж как бог даст!

– Молчите, вы, чудище в обличье человеческом! – вскричал Петр Свейский и кинулся было на Сермяжного с кулаками. – Не миновать статья мне все же стреляться с вами!

– Но только после того, как я всажу в него не менее пяти пуль, – посулил Охотников, перехватывая Свейского. – Не пачкайте об эту погань рук, милостивый государь, не стоит он того, поверьте.

– Но и ты стреляться с ним будешь не прежде, чем я помечу его своими пулями, а на лбу вырежу клеймо – клеветник! – выкрикнул Казанцев.

– Выберите словцо покороче, – нагло посоветовал Сермяжный. – На моем лбу столь длинное не поместится, его на затылке дописывать придется, а там вряд ли кто его среди власов разберет. Что-то не возьму я в толк, господа, – обратился он к Охотникову и Свейскому, – гнев жениха-рогоносца вполне объясним, папенькина растерянность также понятна, а вы-то чего лютуете? Давайте лучше выпьем за то, что Казанцев избавился от нелюбимой невесты, ну а что вдовушка, кусочек лакомый, из рук ушла, так это ведь не навсегда, она всего лишь в имение свое вернулась, там ее еще надежней прищучить можно!

– Что он говорит, ради всего святого, что он говорит! – возопил Сосновский, наконец-то обретший дар речи. – Да как ты смеешь наводить такую гнусную напраслину на мою дочь, невинное создание?! Кто дал тебе позволение?!

– Записочка-с, – с ухмылочкой кивнул Сермяжный на бумажку, кою несчастный отец все еще сжимал в трясущейся руке, – записочка-с дает мне такое позволение-с.

– Да пусть бы обнаружил я двадцать или даже тридцать подобных записочек, все равно не поверил бы, что это писала дочь моя! – запальчиво вскричал Сосновский. – Почерк не ее! Она каллиграф преизрядный, а эту дурь словно курица лапой нацарапала. Далее, все учителя признавали за Наташею способности замечательные, писала она совершенно без ошибок, а тут... вы посмотрите, да тут же «корова» через ять⁴!

– Дело не токмо в почерке и безграмотности, – проговорил Охотников, деловито перечитывая писульку. – Да разве мыслимо, чтобы барышня из приличного русского семейства употребляла таковой лексикон?! Подчеркиваю – из русского семейства! «Не велите башка с плеч рубить... бежать с возлюбленным джигитом... я буду жить, подобно гурии в райском саду... молить пророка Ису...» Какая башка?! Какой джигит?! Какая гурия и какой, ко всем чертям, пророк Иса?! Вы знаете, кто такой этот пророк?! Так магометане называют нашего Иисуса! И гурии с джигитами – это их словечки. Башку с плеч рубить – тоже следы знакомых подков. Страшно подумать, но, кажется, господин Сосновский прав и дочь его в самом деле похищена... неужели абреками?!

– Или теми, кто старательно хотел выдать себя за абреков, – задумчиво сказал Казанцев. – Что-то не верю я в рейд отрядов какого-нибудь имама Вахи по N-ской губернии!

– Не столь уж во многих верстах от N находится Казань, а еще ниже по течению Волги – Астрахань, – пожал плечами Охотников. – Может быть, следы похищенных особ нужно искать там.

⁴ Старинное выражение, обозначающее высшую степень безграмотности, поскольку в слове «корова» нет ни одной буквы ять.

– Не исключено также, милостивые государи, что не только господин Казанцев алчно поглядывал на госпожу Любавинову, но и она отвечала ему взаимностью, – проговорил Сермяжный со своей прежней мефистофельской интонацией. – И именно она устроила это похищение... чтобы убраться с пути соперницу, невесту его.

– Противно слушать, – констатировал Охотников, – однако же придется исследовать и сию, как любят выражаться господа романисты, сюжетную линию. Но для начала я просил бы господина Сосновского пригласить нас в свой дом, чтоб мы внимательнейшим образом могли взглянуть и на комнаты, и на пожитки исчезнувших дам, выяснить, что взяли они с собой. Из этого наверняка удастся сделать вывод о серьезности их сборов и о том, насколько далеко и надолго они отправились. А вам, господин Сермяжный, я вот что скажу: ступайте к себе на квартиру, да боже упаси вас языком молоть и распускать слухи, тем паче – возводить напраслину на вышеупомянутых особ. Сидите тише воды и ниже травы и слова молвить не смейте никому, хоть бы даже и денщику вашему. Клянусь, что, если утром по городу поганые сплетни пойдут, я вас самолично...

– Да-с, слышали уже про ваши пять пуль, – чрезвычайно хамским голосом перебил его Сермяжный, изо всех сил петушась. – Полно стращать, словно малого дитятю букою! Нашли тоже кого пулями пугать, чай, бывали и мы под огнем неприятеля!

– Ладно, не стану я вас пулями пугать, – покладисто согласился Охотников. – Я вас иным напугаю. Вы ведь ремонтер, а стало быть, мерина от жеребца легко отличить умеете. И причину их отличий знаете. Так вот – даю вам слово русского офицера: если начнете языком мести, словно помелом, я вам не язык урежу, а нечто иное, что мужчину отличает от евнуха. На сии дела я наглядился на Кавказе. Бывало, погань тамошняя бесчестила таким образом пленных, ну и я, как вылез из ямины своей, где в плену у Мюрата-аги сидел, тоже немало душу отвел на его абреках, кои попались в наши руки... сам-то он успел уйти невредим, не то я и его евнухом заделал бы. Так вот то же и с вами станется.

– Небось не посмеете, – значительно тише и петушась уже куда менее, вымолвил побледневший Сермяжный.

– Ого! – грозно рявкнул Охотников. – Еще как посмею. Слышали, поди, про зверства, которые над чеченами и прочей черкесней чинил Красный ага? Не могли не слышать, коли пребываете при армии, пусть даже в интендантском качестве?

– Слышал, – нехотя кивнул Сермяжный, – само собой разумеется, слышал, однако не возьму в толк, вы-то каким боком к нему относитесь?

– Каким боком? И правым, и левым, – усмехнулся Охотников. – Штука в том, что я этот самый Красный ага и есть, а прозван был таковым за цвет своих рыжих волос и те реки крови, кои обагрjali на сей войне мои руки, – признался он с самым холодным и равнодушным видом, который устрасил Сермяжного пуще всякого развязного бахвальства. – Мне человека на тот свет отправить – что плюнуть, а урезать его некие члены – и того меньше трудов составит, так что советую вам соблюдать молчание. Ну? Даете ли в том клятву офицера и мужчины... пока еще мужчины? – добавил он с такой глумливой и вместе с тем грозной интонацией, что Сермяжный еще сильнее побледнел и поклялся молчать, после чего Охотников с Казанцевым, Сосновский и не отстававший от них Петр Свейский поспешно вышли на улицу и направились к тому дому, откуда пропали дамы.

* * *

Марья Романовна открыла глаза и некоторое время неподвижно смотрела вверх, не в силах понять, где находится. Над ней был не беленый потолок комнатки, отведенной ей в доме Сосновских, не затянутый штофом потолок ее опочивальни в Любавинове, не бревенчатый потолок каморки какого-нибудь постоянного двора и не чистое небо, дневное или ночное, хотя

свод, полукругом смыкавшийся над Марьей Романовной, был великолепного синего цвета, несколько схожий с тем изумительным индиговым оттенком, который приобретают небеса в самом начале ночи, когда в вышине восходят первые ясные звезды, но над землей еще не угасла последняя полоска закатного света. Однако сейчас Марья Романовна могла видеть над собой не одну или две ранних звезды, а целый хоровод золотых и серебряных созвездий самых невероятных и причудливых форм. Некоторые звезды были крошечные, словно искорки, другие – большие, причем на них ясно различались человеческие черты: глаза, носы, рты. У одних имелись усы и бороды, а прочие звезды оказались женщинами с томным выражением лиц, улыбками или плаксивыми гримасами, с длинными волосами и родинками на щеках. Среди таких лиц-звезд мелькали также солнце и луна, вернее, много солнц и полумесяцев, и у каждого – своя физиономия, свой норов, свое настроение: некоторые смеялись, некоторые гневались, иные имели самое жалостное выражение, и Марья Романовна вдруг ощутила, что на ее глаза невольно накатываются слезы, а потом бегут по щекам.

Она и сама не могла понять, отчего плачет. Не от сочувствия же к плачущим звездам! Это было бы совсем глупо, Марья Романовна не могла сего не осознавать даже в том полубесчувственном, точнее сказать, полуживом состоянии, в котором она находилась. Наверное, слезы текли от слабости, ведь у нее не хватало сил даже руку поднять, чтобы их отереть. Плакала Маша также от непонятной тяготы, которая налегла на сердце, от тоски по чему-то навек утраченному (она никак не могла вспомнить, что именно утратила), а также от смутного страха перед будущим. Но куда больше страшила ее потеря памяти. Нет, кое-что о себе она все же помнила, и немало – имя свое и звание, детство и юность, замужество и жизнь в Любавинове, помнила покойного супруга, майора Ивана Николаевича Любавинова, зловредного Нила Нилыча, управляющего и дядюшку. Помнила она свой приезд в родной город N, встречу с Наташей Сосновской и прочими родственниками, помнила ослепительного Александра Петровича Казанцева и свои о нем загаженные мечтания, а также то, как упрекала она себя в пустом и никчемном, даже постыдном унынии. Припоминала Марья Романовна, что вроде бы захворала... но чем, отчего, почему, когда это было – совершенно не помнила! И, разумеется, не могла объяснить, как попала в сей роскошный покой со звездчатым потолком.

Этакий потолок, размышляла Марья Романовна, не для простого человеческого обиталища. Скорее он пристал великолепной бальной зале. Дворцовой зале! А раз так, значит, Маша была звана на бал в самое высшее общество, поехала туда, но во время танца грянулась без чувств, ну и лежит сейчас, очнувшись от обморока, а все прочие гости ее разглядывают – кто сочувственно, кто насмешливо, – смотрят в лицо, шлепают по щекам, потирают ей ладони, прыскают в лицо водой и подносят нюхательные соли.

Впрочем, еще немного подумав, Марья Романовна сочла свои мысли ерундой. Она не могла вообразить себя грохнувшейся в обморок после нескольких туров вальса или даже целого вечера танцев. Слава богу, она была не из тех изнеженных особ, которые чуть что начинают испускать слабые вздохи и закатывать глаза, давая знать окружающим, что готовы упасть без чувств и не худо бы руки подставить, чтобы их подхватить. Пожалуй, это все же не бальная зала... Слегка поведя глазами и несколько сообразовавшись с ощущениями – на большее Маша была пока не способна, – она обнаружила, что никто ее по щекам не похлопывает и в лицо водой не прыскает. Не чувствовалось также запаха солей, не слышалось и шума голосов. Пахло розами – так до невероятности сладко, как если бы Марью Романовну поместили внутрь флакона с розовой водой или в склянку с розовым маслом, – а до слуха долетала весьма заунывная мелодия, извлекаемая из какого-то струнного инструмента. Балалайка? Нет, что-то другое... Слово «лютня» внезапно возникло в сознании Марьи Романовны, и она вспомнила недавнюю болтовню Наташи Сосновской о лютне и танцах, а также об очах, которые яснее дня, чернее ночи. Но в связи с чем эта болтовня началась и к чему она привела, вспомнить не получалось. И тут Маша ощутила какое-то движение над своим лицом, а потом некий голос проворчал:

– Ты перестарался с банджем⁵, Керим!

Марья Романовна так и вздрогнула... вернее, сердце ее дрогнуло, потому что никаких, даже самонаименьших движений своего бессильно распростертого тела она не ощутила. А сердце дрогнуло оттого, что голос этот показался ей знаком. Она его прежде слышала. Это был тот самый голос – не мужской, не женский, – который уговаривал ее не беспокоиться и сулил пробуждение в раю.

Неужели она в самом деле умерла и пробудилась в райских кушах? Пожалуй, это многое объясняет, например, почему так силен аромат роз и как появился над ее головой столь диковинный небесный свод. А голос, над Машей звучащий, принадлежит ангелу смерти, который ее сюда сопроводил?

Но с кем он беседует? С другим ангелом, что ли?

Марья Романовна готова была с этим безоговорочно согласиться, когда бы не одно обстоятельство: она, конечно, не знала, какие имена могут иметь ангелы смерти, но вряд ли человеческие, тем паче более приставшие черкесам. Керим – это ведь черкесское имя. Маша вспомнила рассказ мужа про какого-то абрека по имени Керим, который много бед причинял русским своими вылазками, так что в русских полках был устроен настоящий праздник после того, как поручик Охотников его выследил и зарубил – на страх и горе всем черкесам.

Черкесы... черкешенки... «А вообще я хотела бы родиться черкешенкой!» – внезапно возникли в памяти Марьи Романовны странные слова Наташины, и она ощутила, что уже сейчас, вот-вот, через минуточку, вспомнит, в связи с чем они были произнесены, однако тот же странный голос перебил ее мысли:

– Я говорила, что этого для нее слишком много. Что мы станем делать, если она не придет в сознание?

– Да ты ослепла, Айше, – проворчал другой голос. – Разве ты не видишь, что она открыла глаза? И даже слезы из них текут?

Ага, смекнула Марья Романовна, стало быть, голос все-таки женский и принадлежит он какой-то Айше. А Айше беседует с человеком по имени Керим и бранит его за какой-то бандж. Да нет, не за какой-то... Марья Романовна знала, что такое бандж, знала по рассказам мужа. Это дурманящее снадобье, очень любимое черкесами, которых приучили к нему турки. В малых количествах оно приносит успокоение, утихомиривает боль и веселит сердце, а приняв его много, можно надолго впасть в забытие и даже жизни лишиться.

Значит, Айше и Керим кому-то дали его в избытке. И теперь тревожатся о том человеке...

«Очень странно, – подумала Марья Романовна, – каким образом я их понимаю? Разве я знаю по-турецки или по-черкесски? Да и языку ангелов смерти вроде не была обучена. И все же понимаю каждое слово. Хотя говорят они как-то странно...»

– А толку-то в ее открытых глазах и в слезах? – пробурчала Айше в это мгновение и сбила течение ее мыслей. – Она ничего не видит. Я наклоняюсь над ней, но взор ее словно пленкой подернут. Смотри, Керим, если она умрет или обезумет, тебе не носить головы!

– Уж лучше ей умереть или обезуметь, бедняжке... – вздохнул Керим, а Айше возмущенно вскрикнула:

– Что ты сказал? Что ты сказал?!

– Да ничего я не говорил, – отмахнулся он. – Тебе послышалось. Тебе вечно что-нибудь слышится. А что до банджа, то разве не ты подмешала его в питье этой несчастной русской? Почему же ты винишь только меня, почему пророчишь, что гнев господина падет лишь на мою голову?

⁵ *Бандж* – сильное снотворное и наркотическое средство, изготавливавшееся восточными народами из конопли, вроде гашиша.

– Да потому что снадобье составлял ты, а я лишь нашла способ передать его этой женщине. Потому вся вина твоя. И не сомневайся, что я найду способ сухой выйти из воды. Господин не прогневается на старуху, которая заменила ему мать.

– Ну, между прочим, я ведь тоже не пустое место, а кизлар-ага, управляющий! – обиженно пробормотал Керим.

– Ты назначен им всего неделю назад! – едко сказала Айше. – И ведь ты не рожден в доме господина. Ты всего лишь слуга, жалкий раб, купленный за деньги... за слишком большие деньги, которых ты не оправдываешь. Потому что нерадив и глуп. К тому же не мужчина! – Айше оскорбительно хохотнула. – Поэтому будь готов принять гнев господина на свою несчастную голову, Керим! Хоть я и не держу сейчас в руке калам и передо мной не насыпан песок, на котором можно погадать, я и без всякого гаданья скажу, что твоя голова слетит с плеч, если эта русская, которая так нужна моему господину, умрет или лишится рассудка.

– Ничего такого не произойдет, – запальчиво ответил Керим. – Так что ты зря каркаешь, старая черная ворона. Посмотри-ка – эта женщина уже не так мертвенно-бледна, как прежде. Давай-ка продолжай мыть ее. Она должна благоухать, как роза в саду Пророка, и быть столь же прекрасна, когда господин пожелает взглянуть на нее. Подбавь горячей воды.

– Я тебе не банщица, – огрызнулась Айше. – Позови служанку.

– Эй, Мелеке! – крикнул Керим. – Принеси горячей воды, да поживей, не то я велю бить тебя плетью!

Тут же раздалось торопливое шлепанье босых ног, тела Маши коснулись раскаленные капли, причинившие ей такую боль, что она вздрогнула и непременно закричала бы, когда б могла разомкнуть уста.

– Что ты делаешь, проклятая ослица! – гневно вскричала Айше, и до слуха Марьи Романовны донесся звук пощечины. – Ты ошпарила ее! Гляди, если на ее нежной коже останутся ожоги, я своими руками вырву требуху из твоего еще живого тела и брошу ее собакам!

Неистовую ругань старухи прервали громкие, полные ужаса рыдания, однако их заглушил радостный голос Керима:

– Ты сама глупая ослица, Айше, которая ничего вокруг себя не замечает! Посмотри на нее! Она вздрогнула! Она ощутила боль! Она оживает! Посмотри же на нее, Айше!

В ту же минуту над Марьей Романовной склонилось мрачное, морщинистое темноглазое лицо, которое, как ей показалось, она уже видела прежде, то ли во сне, то ли наяву. Почему-то это лицо напомнило о стуже, о замерзших ногах, и Маша снова вздрогнула.

– Вижу, вы узнали меня, моя госпожа, – проговорила Айше, обнажая в улыбке очень белые и по-звериному крупные, пугающие зубы. – Хвала Аллаху, который не оставил нас своей милостью! Произнесите хоть слово, коли вы меня вспомнили.

«Да, вспомнила», – хотела сказать Марья Романовна, но почувствовала, что ни губы, ни голос ей по-прежнему не подчиняются. Не могла она также шевельнуть рукой, хотя очень хотелось оттолкнуть Айше. Чтобы хоть как-то избавиться от ее навязчивого, мучительного взора, Маша невероятным усилием заставила себя повернуть голову и отвести глаза от старухи. И в то же мгновение Марья Романовна увидела еще одно странное существо. Это был мужчина, разряженный в отличие от Айше, которая выглядела так, словно носила глубокий траур, по-женски пестро и даже роскошно: в шелковую красную тунику и наброшенный на плечи цветастый узорчатый кафтан, ткань коего так и сверкала, словно дорогая парча. Этот блеск и переливы света надолго приковали к себе внимание Марьи Романовны. Мужчина был толст и пузат, его округлый живот перехватывал красный пояс, таковыми же оказались и муслиновый тюрбан, и широкие штаны, спускавшиеся на желтые сафьяновые сапоги. На лицо незнакомца, на редкость противное – щекастое, обрюзгшее, с маленькими заплывшими глазками и капризным женским ротиком, – Маша лишь бросила быстрый взгляд. Бороды мужчина не носил, усов

тоже, его кожа отливала неприятной желтизной. Словом, смотреть на него не слишком хотелось, и Марья Романовна скосила глаза в сторону. И тут же узрела новую фигуру.

Ею оказалась молоденькая девушка, облаченная в пестрые панталоны, приспособленные у шиколоток... Наверное, это были те самые шальвары, о которых Марья Романовна прежде много слышала, но видела их только на картинках, изображающих турецкий или черкесский быт. На ногах девушки красовались туфли без задников, без каблуков и с длинными загнутыми носами. Назывались такие туфли шипшип, Маша видела их раньше, и вовсе не на картинках – шипшип носили многие барыни вместо домашней обуви, покупая на базарах у туркестанцев, иногда наезжавших в N со своим товаром: урюком, изюмом, солеными абрикосовыми косточками, а также турецкими туфлями и шальями. А иным дамам привозили такие шипшип служившие на Кавказе мужья, прибывая в отпуск.

Тонкий стан девушки оказался высоко обмотан красным поясом, который так сильно подпирал груди, что они торчком стояли, а сами эти груди – Марья Романовна просто глазам своим не поверила! – были совершенно обнажены, так же, как и плечи, и руки, державшие пустой кувшин.

Мало того! Соски у девушки были подкрашены кармином, словно губы театральной актрисы!

Смутившись от такого бесстыдства, Маша скользнула взглядом выше, к голове девушки. У нее оказались темно-русые волосы, заплетенные во множество тоненьких косичек, блестящих, словно намазанные маслом. Венчала гладко причесанную голову маленькая, пестрая, весьма затейливая атласная шапочка, подобную которой Маша видела на заезжих туркестанцах, бухарцах и астраханцах. А под этой шапочкой Марья Романовна увидела заплаканное лицо с красной отметиной тяжелой оплеухи. Губы девушки оказались разбиты в кровь, под глазом набряк синяк, уже, впрочем, пожелтевший, давний... Видимо, она часто испытывала на себе гнев своих господ! Глаза несчастной со страдальческим выражением были устремлены на Машу, губы дрожали, как если бы девушка хотела что-то сказать, да не осмеливалась.

– Что смотришь, дура? – грубо окликнула служанку Айше. – Чего попусту уставилась? Позови госпожу, оклики ее, нам нужно знать, пришла ли она в себя, вернулась ли к ней память.

Маша с изумлением обнаружила, что на сей раз Айше изъясняется по-русски. А прежде говорила по-французски, Марья Романовна наконец-то догадалась, почему понимала ее язык.

Странно, ну просто очень странно! Нет, рядом с Машей точно не ангелы смерти: на каком бы языке ни изъяснялись на небесах, это наверняка не французский. Ну, может, древнегреческий или латынь, однако Марья Романовна не знала ни того, ни другого.

Следовательно, это также не турки или черкесы, ведь откуда таким дикарям знать французский? Опять странности! Опять ничего не понятно!

Маша, впрочем, не успела углубиться в очередное осмысление всех этих странностей и непонятностей, так и обступивших ее со всех сторон и уже начавших изрядно досажать ей, потому что полуголая девушка разомкнула набухшие, трясущиеся от сдерживаемых рыданий губы и дрожащим голосом проговорила:

– Барыня... Марья Романовна, светик ясный... помните ли вы меня? Узнаете ли? Это же я – Лушенька!

Конечно, Марья Романовна отлично помнила свою горничную, но узнать ее в этой девке, одетой самым непотребным образом, накрашенной и более похожей на блудницу, решительно отказывалась. Девка сия никак не могла быть Лушенькой! Или могла?..

Чем больше Маша всматривалась в ее лицо, тем отчетливее понимала, что не только могла, но и в самом деле была ею!

Итак, перед ней... перед ней и в самом деле стояла...

– Лушенька! – потрясенно вскрикнула Марья Романовна, и вместе со звуком собственного голоса к ней вернулась и память о происшедшем. И память эта была столь пугающей, что молодая женщина вновь лишилась чувств.

* * *

Тихо войдя в дом Сосновского, где обнаружили они лежащей почти без памяти жену его, над которой хлопотала старая нянька Наташина, офицеры и Свейский похвалили хозяина за то, что не перебудил слуг и не учинил ненужной и даже вредной суматохи. Они прекрасно понимали, сколь убийственны в провинции молва и дурная слава. Молодые люди надеялись, что выручить из беды пропавших женщин удастся, не поднимая при этом шума. Само собой, более прочих пекся о том Сосновский, но немало был заинтересован и Казанцев – как жених, которому также надлежало охранять репутацию невесты.

Ночные посетители разошлись по комнатам Наташи и Марьи Романовны, не оставив без внимания и каморку по соседству со спальней госпожи Любавиновой, где обитала ее горничная девушка, также исчезнувшая. Кроме того, Охотников побеседовал с нянькою, а затем с фонарем побродил вокруг дома и постоял на обоих крыльчках, вглядываясь в ночную мглу. По всем приметам выходило, что к утру непогода уляжется, но пока рассмотреть хоть что-то в царящей вокруг мокрой, наполовину снеговой, наполовину дождевой апрельской сумятице было невозможно. Впрочем, дальние дали Охотникова особенно не интересовали, он больше глядел себе под ноги, и вид у него, когда все четверо мужчин собрались в гостиной, оказался весьма раздосадованный и озабоченный. Впрочем, и другие тоже не выглядели веселыми, а хмурили брови и отводили глаза от чуть живого от горя и усталости Сосновского.

– Ну что я могу сказать, господа, – со вздохом промолвил Охотников. – Ситуация не слишком радостная. Невеста ваша, Казанцев, без сомнения, похищена, и соучастницей сего была, как это ни печально признавать, служанка вашей гостыи, господин Сосновский, – Лушенька. Вывод сей я делаю на том основании, что пожитки обеих дам – и Натальи Алексеевны, и Марьи Романовны – не тронуты, а вот от убогого скарба служанки не осталось ничего: ни гребня частого, ни сменной рубахи. Исчез также теплый платок и армячишко, в кои горничная одевалась при непогоде. Кроме того, на заднем крыльце, в талом снегу, с подветренной стороны, видел я не заметенные порошею следы маленьких лаптей, что значит: девка экипировалась надлежащим образом, обулась перед дальней дорогою, в то время как барышня Сосновская была выведена из дому в домашних легоньких туфельках, а Марья Романовна – вовсе босая. Я обнаружил, – добавил Охотников, предупреждая расспросы, – что домашние туфли гостыи валяются под кроватью, а обувь молодой хозяйки отсутствует. На крыльце же, рядом со следами лаптей, видны отпечатки ног – и босых, и обутых в туфельки. Это подкрепляет мои выводы. Согласитесь, если женщина по доброй воле собирается в путешествие, пусть и самое недолгое, она готовится к нему столь тщательно, обременяет себя таким ворохом вещей, что ее спутнику только за голову хвататься приходится. В комнатах же барышни и ее гостыи весь дамский обиход брошен, кроме ночных рубах да капотов. Похитители, значит, имели при себе шубы и другие теплые вещи, чтобы дамы не успели испугаться холода и убежать домой. Можно также предположить, что Марья Романовна вечером и ночью маялась какой-то хворью. Вы все видели следы ее недомогания в комнате: ведро и прочее. Вероятно, госпоже Любавиновой была поднесена некая отравка, чтобы затуманить ее разум. Ведь она старше барышни Натальи Алексеевны, а значит, опытней, она могла почуять опасность и насторожиться, поднять крик да и вообще оказать нешуточное сопротивление. Я имел удовольствие видеть эту даму только раз, но успел понять, что она не из тех дурочек, кои при малейшем ветра дуновении валятся без чувств. Похитителям же и их сообщнице, горничной девке, нужно было непременно обесилить ее, вот затем, думаю, они и подлили ей в питье или пищу отраву.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.